

Началось обсуждение моей дальнейшей судьбы. Тут же была выдвинута идея, что неплохо бы отдать Пуфика<sup>1</sup> в гимназию Мая, благо она находится на углу 14 линии и Среднего. И значит, надо только перейти нашу улицу. Говорилось о том, что я могу поступить в первый класс, и тогда мне будет одиннадцать лет в первом классе, что не страшно. Но я, понюхавший уже школьного учения, решил, что могу поступить прямо во второй класс. Так и договорились. <...>

Экзамены были устроены весной, когда кончаются нормальные занятия в школе и учителя обычно спрашивают учеников, вероятно, тех, кто не смог ответить вовремя. Учителя брали меня на урок, и я готовил свой ответ письменный или приготавливался ответить устно. Такие опросы бывали и просто в учительской. Кажется, первый экзамен был Закон Божий. Требовалось знание того, что учили в первом классе, а учили там «Ветхий завет». Следовательно, история от Адама до рождения Христа. <...>

— Расскажите мне о Содоме и Гоморре, об Аврааме и его жене.

— Рассказываю. Попадается имя Лота.

— А кто был Лот?

— Лот был племянник Авраама.

Сенсация! В глазах у батюшки Яблонского<sup>2</sup> умиление и нежность. <...>

Другие экзамены прошли тоже благополучно. Но я мог сделать ряд «ума холодных наблюдений». Какие дураки учились в 8 классе! Я слышал их ответы накануне экзаменов на аттестат зрелости. По русскому — Боже мой, — что они отвечали, как они не знали произведений русских писателей, которых я знал. И какие взрослые морды. Усы, выросшие не вчера, а уже «сложившиеся», «сформированные».

Мой последний экзамен был арифметика. Я беспокоился, но напрасно. Учитель дал мне ту же 219-ю задачу. Конечно, я её решил и получил 4. Я понять не мог, почему мне учитель поставил 4, а не 5? Задача решена без ошибок, цифра ответа сходится с моей. Никаких поправок нет в формулировке вопросов. Значит, вопросы поставлены верно. Так почему же 4, а не 5? Это очень важно для преподавателей. Ставящий оценку должен уметь её аргументировать. Очень плохо, если оценка ставится на глаз, с запасом. Чтобы не могли упрекнуть учителя в том, что принял плохого ученика, дав ему хорошую оценку? <...>

Действительно, если бы мне дали задачу не на тройное правило, а несколько сложнее, я бы провалился. Так, если такие задачи *должны* уметь решать ученики, прошедшие первый класс, то не умеющих нельзя принимать в школу в класс второй. Это же элементарно. <...>

Приготовился идти в гимназию Мая. Опять тошнота от утренней еды, опять трудно с ранним вставанием. ... Но перед гимназией Мая я чувствовал себя спокойнее, чем перед Екатеринен Шуле. Меня удивило, что до начала урока в классе стоит гвалт и содом. Потом звонок, и все ученики школы, по два класса (гимназия и реальное училище), сходились в зале на втором этаже, где занимались разные по старшинству классы. Все становились в ряды, и начиналась просторная молитва. Часть молитв читал косноязычный пригостишка, почему-то все годы читали разные, но всегда косноязычные пригостишки. Кроме читаемых молитв, многие молитвы пелись, для чего был набран хор, человек 15. Затем батюшка Яблонский, знакомый мне по экзамену, читал отрывок из Евангелия.

Придя в класс, если первый урок был Закон Божий, снова слушали молитву, читавшуюся дежурным. Если что-нибудь другое, то общей молитвы было достаточно.

<sup>1</sup> Домашнее прозвище В.В.Скорчеллетти.

<sup>2</sup> А.М.Яблонский преподавал в школе Закон Божий с 1910 г.

Занимались, причем я радовался, что уже арифметики нет. Начиналась алгебра, которая показалась мне совсем не страшной.

Я уроки, конечно, готовил не каждый день, а когда мог предположить, что меня спросят. Вот я и просчитался. Я думал, что завтра меня не спросят по Закону Божьему. И не читал, что было задано. А меня спросил Яблонский, и я получил 2. Исправлять отметку он не захотел, и в четверти у меня оказалось 3. Это было так невероятно, что классный наставник, раздававший нам четверти, ахнул и спросил:

— Что же это вы не смогли ответить?

И покачал головой. У него по природоведению я имел 5. <...>

Состав учеников был достаточно разнороден. В классе было несколько учеников из весьма интеллигентных семей. Учился Бенуа Коко<sup>3</sup>, сын очень известного Александра Николаевича Бенуа, знаменитого художника и вообще деятеля искусства. Он был центром объединения «Мир Искусства». Этот Бенуа был приятным мальчиком, вокруг которого группировались несколько подобных ребят. У нас в классе учился Щеголев — сын историка, Сильванский — сын художника–передвижника, Дубовской<sup>4</sup> — тоже, и еще кто-то, кого я не помню. Были дети купцов, отличавшиеся тем, что они в первом классе учились прекрасно, ибо их готовили настоящие преподаватели. Потом они учились все хуже и хуже и к третьему–четвертому классу съезжали на двойки. Это была публика немудрящая и неинтеллигентная. Не сами они были неинтеллигентны, а семьи их. И тут уж ничего поделать нельзя. Были евреи, кажется по два или три человека на класс (норма!). Это были обычно хорошие ученики, которые вели себя весьма «культурно». С учениками другими они не особенно дружили. Были братья Лещинские<sup>5</sup> — потомки польских королей. Старший учился в классе с Сергеем, а младший со мною. У них был особый «польский шарм». Выражение лица какое-то задумчивое, с типичным «польским» складом рта. Они вообще ни с кем не дружили. Держались особняком. И, наконец, были просто мальчишки, вроде меня, ничем не знаменитые. Жили вообще довольно дружно, и учителя старались эту атмосферу не испортить. Обращались с нами вежливо и, что я особенно ценил, все учителя обращались с нами на «вы». Кроме того, нельзя не упомянуть, что здание школы было прекрасно приспособлено для разных занятий. Были кабинеты физической, химической, рисовальный, гимнастический зал. Все это было оборудовано нужными приборами весьма прилично.

Наше начальство было тоже культурно и образовано. Директор гимназии Александр Лаврентьевич Липовский ходил в вицмундире, но это никого из нас не тревожило, так как мы знали, что гимназия частная, принадлежащая коллективу преподавателей и имеющая права казенных гимназий. И все мы знали, а если не знали, то чувствовали, что порядки такие, что директору приходится все время быть начеку.

Об уроках отдельно я ничего не могу рассказать, так как я не запомнил уроков. Только отдельные, скандального характера случаи запомнились мне. Когда будет для них место, я расскажу то, что помню.

А так день был похож на день. Я скоро выучился самому нужному для «хорошего» ученика: умению чувствовать, что «завтра он спросит». Тогда я готовился тщательно к уроку, и «он меня спрашивал», и я получал что-нибудь хорошее — 5 или 4. Кстати, я не понимал, почему по русскому языку мне все время ставили 4? Я писал диктовки обычно без ошибок. Получал 4. Сочинения я писал с выдумкой и разнообразием. Получал 4. Литературу я знал. Во всяком случае, знал больше, чем полагалось знать по программе. Получал 4.

По алгебре я тоже получал 4. Хотя я сразу и без хлопот понял, что совершенно одно и то же говорить число «25» или число «а».

---

<sup>3</sup> Николай.

<sup>4</sup> Щеголев Павел, Сильванский Павел, Дубовской Сергей.

<sup>5</sup> Лещинские Юлиан и Владислав.

Помню, что однажды была классная работа на «приведение подобных членов». Работа не трудная, но долгая и немного путанная. Мне захотелось сделать ее верно, и я по несколько раз проверял все действия. И я сделал эту работу только один в классе. Все наврали, не потому, что не знали, а потому, что работа была провокационно запутанная. Мне за нее поставили 5, но в четверти, так как это была алгебра, поставили 4. Я не очень огорчился, хотя может создаться впечатление, что меня очень обижало такое отношение ко мне. Во всяком случае, мне кажется, что я так рассказал это. Но это недоразумение, если читатель так подумает. Вообще меня отметки не очень беспокоили. Я помнил мудрые слова мамы, которая мне сказала при уходе моем первый раз в гимназию:

— Я не буду вмешиваться в твои уроки. Не буду даже спрашивать тебя, сделал ли ты все уроки на завтра. Но это до тех пор, пока у тебя не будет двойки в четверти. Вот тогда я буду все время следить за твоими успехами. Но это будет значить, что ты сам не можешь учиться, а тебе нужен постоянный надзор и контроль.

Вот этого «надзора» я боялся и хотел, чтобы «контроля» не было. Мои товарищи по гимназии очень мне завидовали, говорили, что у меня прекрасные родители, что это сказка и проч. И я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из «родителей» давал такие обещания своим детям. А ведь это развивает в детях самостоятельность и ответственность за свое поведение. Вообще делает жизнь интереснее и толковее. <...>

Приближалась пасха. А в те времена под пасху все ученики и ученицы обязаны были говеть. Именно обязаны. Мы, наша гимназия, говели в Исаакиевском соборе, ибо наш законоучитель был протоиерей этого собора. Законоучителей у нас было собственно два. Один — Яблонский — диакон Исаакиевского собора. Он занимался с учениками до третьего класса, а потом действовал на нас протоиерей Падалка<sup>6</sup>. Вот чем объяснялась наша связь с Исаакиевским собором.

Однажды на молитве Яблонский выступил с рассказом. Он говорил об исповеди, что нельзя никаких грехов утаивать от Бога, что он будет нас исповедовать, и мы должны заранее подумать о своих грехах.

И вот началось говение. Мы должны были собраться в соборе часам к 10. Пришли. Я, например, был в Исаакиевском соборе первый раз. Он на меня произвел угнетающее впечатление. Тяжелая роскошь отделки, холодные какие-то «николаевские» иконы, огромная высота купола, особенно, когда смотришь на него снизу, железная укрепляющая фермочка, поддерживающая купол, роскошь алтаря и дароносица — золотая модель собора. Все это вовсе не настраивало на молитвенный лад, а наоборот угнетало. Алтарь был так велик, что когда поставили в него два класса, изучающие Богослужение, гимназию и реальное училище, то поверхность алтаря не уменьшилась, нас не было видно. Мы стояли и ждали начала службы. Гимназисты справа, реалисты слева от престола.

По дороге в собор я всячески себя настраивал на «умиленный» лад, и в весеннем Петербурге это получалось достаточно хорошо. Но как только я попал в собор, всякие умиленные настроения у меня прошли.

Наконец мы услышали шепот. И появился архиепископ, а может быть, у него был другой какой-то чин. Это был старичок, низенький, совершенно седой с волосами пушистыми и с какими-то беспомощными ручками. Старичок беспомощный и зависящий от сопровождающего его прислуживающего чина. Этот же чин в черном руководил службой старичка. Он наклонялся к нему и громко шептал:

— Ваше св... (или преосв...), Вам возглас.

И чин показывал строчку в книжке, с которой нужно начинать возглас. Старичок послушно отрывался от разговора, который он вел с каким-то священником, и исполнял требуемое. После чего немедленно обращался к собеседнику и продолжал разговор. Это, конечно, происходило при закрытых царских воротах и при задернутой завесе. Это все скрывали от «публики» кулисы. А на амвоне, т.е. на сцене, в это время действовали либо

<sup>6</sup> Протоиерей Д.К.Падалка преподавал в школе Закон Божий с 1894 г.

дьякон, либо хоры, не выходящие на амвон, а стоявшие с боков. Я не знаю, хорош ли был хор в соборе, ибо я никак не ощущал качество хора. Служба шла, поддерживая смутное ощущение текущего времени и наливающуюся тяжестью голову. Начинало казаться, что весь собор своей 106-метровой высотой<sup>7</sup> давит на плечи, и они от этого болят. Болят сильно, и голова туманится. А царские врата то открываются, то закрываются, и действие, «служба» течет неспешно и вяло к концу. Когда служба кончилась, нас пустили домой отдохнуть. Я шёл пешком, и постепенно улетучивалось из меня нагнетённое в меня церковное настроение. Я шёл по Конногвардейскому бульвару и вспоминал вербы и веселие вербное. Дома было пустынно.

Пошел снова в собор. То же самое. Стало совсем скучно. <...>

Назавтра опять утром к Исаакию, а в послеобеденное время в гимназию на исповедь к диакону Яблонскому. Я не уверен, что здесь нет нарушения церковных правил. Разве может дьякон быть допущен до принятия исповеди? Думал я и об этом. И беспокоился о том, что будет меня спрашивать при исповеди Яблонский. А если он начнет спрашивать о вещах, о которых я и здесь—то в записках не могу рассказать? Что тогда? И как стыдно. Одним словом, я шел на исповедь как на очень тяжелое дело. И я волновался, и просто мне было страшно. Вернее не страшно, а стыдно. А если будет спрашивать, не воровал ли у мамы сахар? Ведь и такая глупость может случиться. С расплывающимся подъездом гимназии перед глазами я толкнул дверь и вошел в вестибюль и в раздевалку. Нашел свой номер — восьмой — и разделся на нём. Пошел в наш класс. Оказалось, что мы ждем в зале, около двери нашего класса. Сидим смирно и не болтаем. Не то, что обычно. Видимо, у всех неспокойно на душе и никто не хочет об этом говорить. <...>

Наконец пришел Яблонский и сказал, что будет вызывать нас по трое. Удивительно! Как по трое? Мы будем отвечать на вопросы Яблонского в обществе двух из нашего же класса? Да как это можно? А тайна исповеди?

Дверь раскрылась, и позвали первых трёх. Когда они вышли, ни у кого из присутствующих не повернулся язык спросить вышедших о их впечатлении. Не решились. А были хулиганы довольно опытные.

Наконец позвали и тройку со мною. Мы вошли робко и поздоровались. Яблонский попросил нас сесть на стулья, поставленные около учительского стола. Мы сели. И Яблонский начал говорить. Он сказал:

— Вы помните, как я просил вас подумать к сегодняшнему дню о своих грехах. Просил подумать о своей душе и все свои проступки обсудить, вывести, так сказать, на ваш внутренний душевный свет и искренне пожелать себе больше не делать таких поступков, не иметь таких мыслей, в которых вы будете раскаиваться. Вы подумали?

Мы дружно сказали: «Да».

— Ну и хорошо, — сказал он и положил на голову одного из нас епитрахиль. И начал читать молитву:

— И аз недостойный иерей...

Он перенес епитрахиль на мою голову и, не дочитав молитвы, перенес ее на голову третьего мальчика. Так одной молитвой были мы все прощены. Мы поклонились и вышли вон. Я вышел с чувством, что кончилась неприятная обязанность, и теперь я свободен. Вместе с тем я не мог не отдать должного такту этого дьякона, который назвал себя в молитве перед Богом «недостойным иереем». А ведь иерей, кажется, по-гречески значит священник. А он им не был. Я все же думал, что его молитва была принята Богом, и я теперь не имею грехов. Я не могу отчетливо сказать, в чем выражалась моя безгрешность. Но в чем-то она должна была выражаться. Поэтому я очень неопределенно чувствовал себя, все время наблюдал себя со стороны. А когда я лег спать, то пришли привычные представления, сладостные и никак не «праведные». И, лежа в сомнении, я заснул, и последние представления были не «те».

---

<sup>7</sup> Высота Исаакиевского собора 102 м (Авт.).

Назавтра я пошел в Исаакий. Все уже собрались. Я как-то чуть-чуть не опоздал. Опять слушали службу, опять дьякон говорил ектению и перечислял, за кого нужно молиться и прочее. Но когда служба кончилась, мы все стали в очередь к принятию «святых Тайн», то есть к причастию. Яблонский стоял за каким-то столиком в каком-то месте собора. Наша очередь шла туда. Мы глотали с подставленной нам ложечки кусочек хлеба в красном вине. Я ни минуты не верил, что хлеб превращается в тело Христа, а вино в Его кровь. Я придерживался стихийно такой ереси, что это делается в воспоминание о Христе. Это, кажется, утверждал Кальвин. После принятия хлеба и вина, нам дали выпить еще вина, называлось оно «теплота». Вино я пил очень редко, и поэтому теплота мне понравилась.

Когда мы вышли из собора, была такая погода, которая типична для северной весны. Было туманно, и туман просвечивал на солнце и окрашивался в неопределенный розовато-желтый цвет. И этот отблеск отражался на штукатурке домов, давая им дополнительный оттенок. Бледно окрашенные трамваи шли вдоль Александровского сада и с пением заворачивали к Конногвардейскому бульвару. Оглянулся на собор. Он как-то щурится своим золотым куполом и чуть ли не подмигивает. А колонны гранитные любят розовый отблеск солнца и нежатся в этом розовом свете. Я пошел прямо на Неву и удивился такому свежему цвету ее.

Так прошел день моего первого причащения и последнего. Это был единственный раз, когда я исполнил обязанность христианина, без исполнения которой, по мнению церкви, нет спасения для души. Уже осталось ждать недолго, и все будет для меня достоверно ясно.

Наступила настоящая весна, меня перевели в третий класс. <...>

Все мое писание — безусловная правда о том, что я чувствовал и как переживал разные события, а что касается фактов, то я могу ошибиться. За это прошу прощения и прошу не смотреть на мое писание, как на справочник по местам и датам событий. <...>

В конце лета 1914 года мы с мамой вернулись в Петроград. Начался обычный учебный год. Удивительно, даже огромная война была не способна изменить дух в школе, и это в гимназии Мая, которая отличалась все-таки минимальной тупостью. <...>

Когда я первый раз пошел в гимназию, то оказалось, что я к ней привык. Меня уже не пугали ни учителя, ни ученики. Начался один новый предмет — латинский язык. Латинист<sup>8</sup> был типичным «учителем», лишенным юмора и «приятства». Заниматься мы должны были каждый день — 6 уроков латыни в неделю. Я помню только, как я готовил уроки по латыни. Другие предметы у меня времени не отнимали или отнимали так мало, что я не могу припомнить, как я делал уроки по этим предметам. А вот латинский язык я помню. И не чувствую радости при этом. Ежедневно нужно было выучить около 20 слов, и выучить прочно, ибо учитель спрашивал при вызове ВСЕ слова, которые записаны за все время учения, с начала года. Ежели не хотелось получить 2 в четверти, то нужно было держать в памяти все слова, которые уже «были». У меня по латыни была тройка. Зато я процветал по истории. Историк<sup>9</sup> у нас был очень хороший. Он не спрашивал нас ежедневно. Опросы были в конце четверти. Остальное же время он читал нам лекции по истории, так, как будто мы были в университете. Мы его очень почитали. <...>

После обеда я иду делать уроки. Это скучно, но нужно. Я вытаскиваю из ранца книжки и тетрадки и начинаю учить уроки. Я учусь со скукой, но довольно быстро выучиваю латинские слова и перевожу с помощью подстрочника заданный кусок текста. Пользоваться подстрочником строжайше запрещено, но я не знаю ни одного мальчика, который бы им не пользовался. И действительно, зачем выискивать непонятные слова в словаре, если можно их найти в подстрочнике, и в том месте, где эти слова нужны. И какие-нибудь заковыристые обороты речи можно разыскать в учебнике, только черт их знает где, в каком параграфе их нужно искать. А подстрочник сразу дает ответ, изложив

<sup>8</sup> Сергей Михайлович Введенский.

<sup>9</sup> Александр Августович фон Герке.

все в нужном месте. Отнимают от меня уроки около получаса. А отметки в четверти у меня все улучшались. Во-первых, из них исчезли тройки. Если средний балл за четверть был выше четырех, то четверть называлась «красной» и писалась красными чернилами. Вот эти красные четверти стали у меня привычными. И дома у нас никто не обращал на это внимания.

— Ну, красная, так что с того? <...>

А раннее вставание меня все же мучило. И утром я очень не хотел вставать. От нашего дома до гимназии было не больше 10 минут ходьбы<sup>10</sup>. Собственно, было пять минут, и еще пять на раздевание. Значит, без 10 минут 9 я должен был выйти из дому. Я просыпался в 8. И лежал, считая по стрелкам больших карманных часов. По пять минут я отводил на каждую операцию. Одеться, умыться, поесть, с ранцем повозиться — итого 20 минут, да десять минут на ходьбу до школы. <...>

В школе было скучно, разве только веселили нас бой-скауты. Однажды новый мальчик, только что поступивший к нам, был заподозрен в чем-то запретном. Учитель, исповедывавший его, сказал:

— Вы носите значок своей организации. Он вам запрещает лгать.

Он подтвердил это. После мы узнали, что у него наколот значок, изображающий, кажется, лилию. Это был английский скаутский значок. Отец этого мальчика работал в нашем посольстве в Англии. С началом войны они вернулись в Россию. Все стали подходить и рассматривать значок. А через некоторое время появилась и русская скаутская организация<sup>11</sup>. Кажется, это было в первый год войны. А может быть — на второй. <...>

Стало известно, что тот министр, которого побил немцы, отменил переходные экзамены на все время войны. Кроме того, в этом году летние каникулы начинались 15 апреля и продолжались до 1 сентября. Это огромные каникулы. <...>

В Лейстиле<sup>12</sup> все было обыкновенно, кроме Сергея<sup>13</sup>. Его любовь к немцам доходила до нелепости. За обедом он, например, говорил:

— Ну что ж, тычонок двадцать русских возьмут сегодня в плен.

Такие слова часто вызывали реакцию мамы, ибо она высказывалась, не стесняясь Янчевских. Мария Матвеевна тоже молчаливо поддерживала Сергея. Это считалось революционным.

Однажды вечером Сергей, Борис<sup>14</sup> и я разговаривали на темы политические.

— Ну, а Пуф, — сказал Борис — а Пуф «за веру, царя и отечество?»

Я отвечал не совсем внятно, так как эта формула до войны была постыдна. Я обиделся и ответил поэтому не вполне так, как хотел. Я хотел сказать, что всякий человек должен любить свою родину или «отечество», и поэтому формула не подходит. Вместо этого я сказал примерно так:

— То есть как «отечество»?.. Конечно, отечество... я хотел бы видеть его не побежденным немцами. Я хотел бы, чтобы мы немцев побил. <...>

1915–1916. Начался третий гимназический сезон. Я хожу в четвертый класс. И все по-старому. Так же задают уроки, так же шалят, так же проводят перемены. Разница в том, что 4 класс расположен на втором этаже, и поэтому нельзя бегать, а нужно держать себя более «солидно». Но если кто-нибудь и побежит однажды, то из этого не делают события. <...>

Серая жизнь, серое небо, и перспективы серые. Такой казалась мне жизнь. Весной 1916 года я заболел. Болел довольно долго, ко мне ходили доктора и не понимали, что у меня такое. Помню, вечером был доктор и опять «не понял». А утром я, проснувшись,

<sup>10</sup> В то время В.В.Скорчеллетти проживал в доме 19-а по 12 линии В.О.

<sup>11</sup> Впервые кружок скаутов в России был организован капитаном Пантюховым в 1909 г.

<sup>12</sup> Финская деревня в районе посёлка Поляны Ленинградской обл.

<sup>13</sup> Сергей Аркадьевич Янчевский (1898–1941), выпускник 1917 г., впоследствии докт. физ.-мат. наук, профессор Университета.

<sup>14</sup> Борис Аркадьевич Янчевский (1899 —1937 )

как-то провел пальцем по лицу и почувствовал какие-то бугорки. Я вылез из кровати и подошел к зеркалу. Оказалось, что я весь в розовых бугорках. У меня была корь. И здесь ничего интересного. Но почему-то корь была долгая, и я долго лежал в постели. ПроболеЛ месяца два. <...>

Из-за долгого отсутствия в гимназии мама решила оставить меня на второй год. Я не соглашался, утверждал, что это унижительно, что я прекрасно догоню своих товарищей по гимназии. Но почему-то мама на этот раз оказалась упрямой и ОСТАВИЛА меня на второй год. Я и остался, и без особенного страдания. Но теперь, да и не только теперь, а уже года через три-четыре, я понял, насколько мама была права, устроив мне такой «перерыв» в гимназическом учении. Весь следующий год я в гимназию не ходил. Я появлялся только четыре раза в год: по одной неделе перед четвертями, чтобы учителя могли спросить меня по всей четверти и поставить «оценку». О своих впечатлениях от получения оценок я надеюсь рассказать потом. <...>

Учился я выше среднего. Четверти все были у меня красные. <...>

Мои визиты в гимназию были для меня, конечно, мучительны. Первая и вторая четверти прошли легко, в прошлом году я их посещал, и учителя, веря своим оценкам прошлогодним, ко мне не придирались. Что же касается третьей и четвертой четверти, то здесь мне было хуже, придирались. Да и я, в первый день прихода, проспрягал латинский глагол в прошедшем времени на манер настоящего. Был с возмущением прогнан с урока и назавтра ответил спряжение глаголов совершенно верно и получил 4. Мне тогда и сейчас непонятно, как я, знавший спряжение глаголов, смог такую глупость сказать. Это, действительно, непонятно. Я только увидел, что обалдение от ничегонеделания может достигнуть невероятных размеров! В каком-то тумане, но в тумане «беспокойном», я сморозил такое спряжение — вместо: лаудави, лаудависти, лаудавит, я сказал: лаудави, лаудавис, лаудавит<sup>15</sup>.

Конечно, это было черт знает что, и, конечно, спасибо учителю, что он поставил потом мне четыре. <...>

Весной я сдал последнюю четверть, меня перевели в 5 класс, и мы поехали на дачу, в Лейстилу. <...>

В ночь на 21 февраля была слышна у нас дома винтовочная стрельба. На 16 линии, у самой набережной, были казармы лейб-гвардии Финляндского полка. Часть солдат, вероятно большая, была за свержение царя, а меньшая — за «соблюдение присяги». К утру спор этот был разрешен. А утро было чудесное. Светило солнце, снег блестел яркими искрами, а мы, как дураки, сидели дома, боясь высунуть нос. Часов в 11 Михаил Карлович //Михаил Карлович — дядя В.В.Скорчеллетти// пошел посмотреть, что делается на улицах. Он скоро вернулся, и глаза у него горели. Он сказал, входя из передней в шубе и меховой шапке:

— На улице Божий праздник, люди обнимаются, целуются, как на пасху.

Это было так необычно, так свежо, что все мы сразу собрались и пошли посмотреть. На 12 линии уже было гораздо больше народу, чем обычно. На углу Большого собралось человек 10 и слушали одного. Он говорил непрофессионально, по-обывательски, но поносил Николая Второго. И при полном одобрении слушателей.

На Большом было просто очень много народу и много солдат с винтовками. На углу 11 линии солдаты нашли чей-то винный погреб. Этот погреб сделался сразу лакмусовой бумажкой на революционность, на чистоту помыслов, которая так радует. Бутылки выбрасывались на улицу, на снег. И тут некоторые солдаты отбивали горлышко и пили вино. Но не успевали они сделать несколько глотков, как кто-то из своих товарищей давал ему кулаком по затылку, так что бутылка отлетала от пившего. Он оборачивался с негодованием, и тут ему доставалось от других солдат. Скоро вся мостовая была покрыта бутылками, которые давились прикладами или разбивались о снег. И снег становился красным, зеленым. Пятна разлитого вина покрывали всю

---

<sup>15</sup> ПЕРЕВОД И НАПИСАНИЕ ПО ЛАТЫНИ

мостовую. Число их все увеличивалось. Многие затем только и лезли в подвал, чтобы с увлечением разбивать бутылки. Я думал: уже 3 года как продажи вина нет, следовательно, хочется выпить. Но вместо этого такой бурный погром бутылок, выливавших свое содержимое в снег на мостовой! <...>

Дня через два начались занятия в гимназии. В нашем классе все были возбуждены и рады революции, кроме двух мальчиков. Один из них был ничего себе, но он находился под большим влиянием другого мальчика. Кажется, они были знакомы «домами». Этот другой мальчик был очень неприятный: в «элегантном» костюме, с пробором от шеи до лба. Он не устаивал не только спорами, но и обменом мнениями с товарищами по классу. Пусть его фамилия будет Н. Пришел в гимназию этот Н. очень мрачный и был похож на человека, у которого большое личное горе. Мы его не трогали. В этот первый день после февральского переворота, когда еще не было известно, как отнесется вся Россия к событиям в Петрограде, все были однако уверены, что Россия будет только приветствовать свержение царя. <...>

В первый день занятий у нас был урок Закона Божьего. Преподавал его протоиерей Исаакиевского собора, имеющий «палицу» (знак отличия для священнослужителей. Вышитый ромб.), Падалка. Сухой, с «иноческим» складом и телесным и, вероятно, духовным. Он был очень худ, с лицом коричневого цвета. Сгибающийся торс, такой, как будто у него не было скелета, обычного у людей. Торс, сгибающийся просто по кругу, как колесо. Должно быть, это достигается долгим и большим упражнением. Губы белые, руки маленькие. Когда он был взволнован, то, согнув пальцы внутрь на обеих руках, он быстро тер ногти одной руки по ногтям другой. Я чувствовал большую неприязнь к этой манере.

И вот, поп Падалка, или как мы его называли, выговаривая оба слова слитно, — Поппадалка, начал урок так:

— Вы, конечно, все ропщете на Господа Бога. И говорите в душе своей: Господи, как было бы хорошо, если бы все эти, так называемые революционеры, были современно повзрелые! Но не робщите... И т.д.

Помню, как неловко и как противно было нам слушать это пастырское высказывание. Но, к стыду нашему, мы только переглядывались и никто не посмел, никто не решился ответить Падалке так, как это было нужно. Но дома мы все рассказали своим родителям, и на завтра к директору Александру Лаврентьевичу пришла депутация от родителей. Они потребовали, чтобы Падалка не смел больше выступать перед учениками с такими заявлениями. Если это не будет выполнено, то ВСЕ дети будут взяты из гимназии. Заявление подействовало, и больше Падалка никак не комментировал происходящего. И вообще он весной уехал. Куда — мы не знали. Гораздо позже кто-то мне рассказывал, что он как будто бы был знаменит у белых, у гетмана Скоропадского, во время гражданской войны. <...>

В гимназии происходили всякие мелкие события. Например, наш учитель истории, которого с осени сделали нашим классным наставником, помня наше увлечение прошлогодней историей и его «лекциями». Он же стал у нас преподавателем латинского языка. Поэтому моя тройка по латыни кончилась. Когда он, приняв новый для него класс, стал вызывать всех и спрашивать, сколько было у каждого по латыни в «прошлом году», я сказал — тройка. Он удивленно поднял брови и никак не прокомментировал мои слова. Вскоре он меня вызвал и заставил прочесть и перевести какой-то кусочек из Кая Саллюстия Криспа<sup>16</sup>. Я перевел, но одно место я плохо понимал, ибо не разобрался в подстрочнике. Но он на это не обратил внимания, и далее кроме пятерок я ничего по латыни не получал. Поэтому я плохо знал латынь в школе и еще хуже знаю ее теперь. Тем более, на следующий год она была сделана необязательной, и я немедленно перестал ее учить.

На одном из первых занятий после революции этот учитель, говоря о перевороте в России, сказал, что русская революция похожа на Португальскую. Так же мирно прошла

<sup>16</sup> Саллюстий (86–35 до н.э.), римский историк.



(!). Когда я услышал такое мнение, то мне стало как-то неприятно и стыдно. Я, конечно, не мог бы сказать, в чем учитель ошибается, но что он ошибается, было для меня очевидно, а главное, мне была очевидна разница между Португалией и Россией.

В этом году случилось небольшое происшествие, резко изменившее мое гимназическое положение. Не помню, по чьей инициативе было затеяно поставить второй акт «Ревизора». Не помню как вышло, что мне предложили играть Осипа. Молас играл Хлестакова, а Кондауров – городничего. Иванов<sup>17</sup> был трактирным слугой. Я согласился на Осипа. Молас был из семьи камергера, мать его была урожденная Пургольд. ... Кондаурова я почти не знал и познакомился только по поводу спектакля. Иванов был принципиальным и неутомимым хулиганом. Я не помню, почему его пригласили играть трактирного слугу. Но помню, что он как-то пропустил две репетиции, и я пошел разговаривать с его родителями. Оказалось, что отец у него умер. Мать — приятная женщина — любезно приняла меня и сказала так:

— Я не хочу, чтобы мой сын был всю жизнь «трактирным слугой».

Но играть у нас она ему разрешила. И вот начались репетиции. По вечерам мы приходили в гимназию, забирались в наш класс и репетировали на том месте, где сидит учитель, отодвинув его стол. Странно, но роли все знали с первого раза. Я играл Осипа так, как он мне представлялся: староватого, умного, много умнее своего барина. Мне помогало то, что я не видел «Ревизора» в театре, и мне некого было копировать. Поэтому я очень много думал о роли, читал и перечитывал Гоголя и самого «Ревизора» и пояснения для желающих хорошо сыграть его, и думал, думал до одурения. И молился Гоголю, и иногда мне чувствовалось, что Гоголь меня слышит. Так, накануне спектакля я вечером молился в окно на ночное небо Николаю Васильевичу Гоголю. И мне казалось, что я вижу его лицо в плохо освещенном небе, лицо с двумя, как собачьи уши, свисающими пакетами волос. И жалостливое умиление перед гением Гоголя было мне сладостно, и я просил его помочь мне в спектакле. Кажется, Гоголь меня услышал и мне помог. В гимназии я застал собирающуюся публику — родителей и родственников. Я не помню, как мы выгородили кулисы, и вообще каково было «материальное оформление» спектакля. Помню ужас начала, ибо с Осипа начинается акт. Я лежу на кровати, на мне порыжелые сапоги (откуда я их достал?) Наконец:

— Черт побери, есть так хочется, и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы. Вот не доедем да и только домой!

Эта первая фраза роли Осипа, определенно, Гоголю не удалась. Эти «трубы» звучат фальшиво, фальшиво по чувству, по смыслу. Уже «Вот не доедем...» — это правда. И, начиная со второй фразы, мне было легко и приятно. Читал я монолог все время, лежа на кровати, как мне ни казалось, что это однообразно и скучно. Но я выдержал эту манеру, несмотря на то, что было очень трудно. В конце я думал привстать, перейти в сидячее положение, но ведь есть в конце ремарка: «Поспешно схватывается с постели». Значит нельзя садиться. И, «схватываясь с постели», я запутывал одну ногу в одеяле и, не совладав с этой бедой, я, плюнув на беспорядок, встречал Хлестакова. После окончания монолога для меня спектакль пошел совсем легко. Городничий был плох, Хлестаков — Молас тоже. Молас был похож на Дюра, первого исполнителя роли Хлестакова, которого так изругал Гоголь. Я думаю, что Молас потому так плохо справился с Хлестаковым, что он рисовался ему при помощи французской комедии, в которой Молас был начитан и хорошо ее чувствовал.

Хлопали. Не чрезмерно. Однако оказалось, что я покори́л гимназическую публику. Я не чувствовал, что это так. Но оказалось — так. Уже завтра все отношение ко мне очень изменилось. Какой-то маленький мальчик сказал сопровождающей его бабушке, увидев меня:

— Вот, бабушка, это тот мальчик, который так хорошо играет!

---

<sup>17</sup> Молас Николай, Кондауров Дмитрий, Иванов Борис.

Слава мне головы не вскружила, но была приятна. А кроме того я стал популярен, и меня начали выбирать во всех случаях, когда было нужно что-нибудь трепаческое. Слава пошла и дальше. Недели через две ко мне обратилась учительница пригостишек, которой пришло в голову тоже поставить второй акт «Ревизора», чтобы я сыграл Осипа (пример удивительной несамостоятельности учителей!). Я согласился неуверенно, так как боялся художественного творчества учителей. А эта учительница поступила недавно в гимназию, и я ее не знал. На первой же репетиции в зале на третьей фразе заставила меня вскочить из того лежачего положения, которое я так ценил, которого добился с таким трудом. «Вот не доедем да и только домой!» И она складывала ручки на груди, а потом лихо хлопала себя по коленям и говорила: «Что ты прикажешь делать». После ее попытки нацело изменить характер Осипа, я от участия в этой бездарной постановке отказался. Но они так и не поставили свой спектакль. Я часто замечал, что, когда учителя за что-нибудь берутся, всегда ничего не выходит. Не хватает у учителей душевного, Макаренковского отношения к делу. Я не об учении говорю, а о других, например, художественных делах. Не могут они относиться к делу, как к чему-то «своему», берущему за душу, заставляющему много раз пробовать одно и другое, и третье. Они всегда берут что-то уже готовое, и не дай Бог их в этом уличить. Получится настоящая, глубокая обида. А «обидевший» их мальчик будет проклят ими на все времена. Я в гимназии таких проклятий заслужил много и, что особенно глупо, они не могут допустить мысли, что их отношение к мальчишке зависит от того, что в споре с ним они в чем-то оказались не правы.

Это было уже в 1918 году. В гимназии у нас было тоже все наново. Во-первых, нам объяснили, что мы должны САМИ следить за своим поведением, должны участвовать в жизни школы и участвовать активно, вполне самостоятельно. Это было особенно трудно, потому что к нам в гимназию влили девочек. Мы с большим нетерпением ждали их и каждый день, приходя, надеялись, что они уже появились. Наконец девочки пришли. Но наше несчастье — к нам в класс посадили епархиальное училище пресвятыя Ефросинии Суздальския. Их было немного — человек 15–16. Я, как классный староста, должен был их переписать и, между прочим, узнать год рождения. И представьте себе мой ужас, когда оказалось, что среди них нет ни одной, родившейся в XX веке. Сплошь XIX! Год рождения? — 1897. Год рождения — 1898. И это была самая молоденькая из девочек.

Второе, что нас очень огорчило, — это крайняя неблагоприятность их. Такие звездорылы, такие страховидные морды, что «просто — признаюсь». Они держали себя, как стадо, тихое и дисциплинированное, но стадо. Сели они все на парты, наиболее отдаленные от окна. По их возрасту мне хотелось им говорить «вы». И сейчас, когда я пишу это, мне они не представляются на «ты». Это явно — «вы». Но я заставлял себя внимательно говорить им «ты», во избежание дискриминации. Они сидели плотной колбасой и так же «плотно» голосовали: как одна!

А в это время было много поводов для голосования. Первый, вполне мирный, — было голосование конституции класса. Эту конституцию составил я и Макс Браун. Мы старались, и не без успеха, сделать язык совершенно суконным, без примеси легкомысленного ситца. И это нам удалось. Так же была написана бумага, нечто вроде уголовного кодекса: порядок и права «товарищеского суда». Все это я переписал на ватманской бумаге, на машинке. Огорчало меня только то, что шрифт был фиолетовый. Получился свиток весьма увесистый. К сожалению, я не помню ни одного параграфа конституции и ни одного права «обвинителя или ответчика». Однажды было применено на практике это положение о товарищеском суде.

Последнее время наш Ласточкин<sup>18</sup> что-то разыгрался. Стал агрессивен. Когда он встречал в зале ученика предыдущего класса Боря Каплянско<sup>19</sup> — мальчика, с которым мы дружили, — то, встретив его, Ласточкин всегда сквозь зубы говорил:

<sup>18</sup> Николай Ласточкин.

<sup>19</sup> Борис Евсеевич Каплянский (1904–1985), скульптор.

— Ну, ты... Личность...

Что должно было это значить, неизвестно. Но похоже на ругань. Вот Каплянский однажды ему и ответил:

— А ты — неприличность!

Это нам очень понравилось, и мы стали называть Ласточкина неприличностью. Так это и укоренилось в обиходе. И был в нашем классе ученик Ольсен<sup>20</sup>. Необычайная рожа. У него был тик, и этой рожой он строил рожи совсем непригодные. В очках. И как-то он Ласточкина назвал неприличностью. И Ласточкин, слыша это от нас по несколько раз в день, вдруг взъялся на Ольсена и обругал его как-то сильно, и начал драться, чего слабосильный и болезненный Ольсен не выдержал. Мы вмешались и привлекли Ласточкина к товарищескому суду.

Сам суд — была глупая хохма. Ласточкин напирал, что его оскорбили, над ним издевались. Суд постановил: «запретить издеваться над Ласточкиным». Ехидство этой формулировки было в том, что именно над ЛАСТОЧКИНЫМ запрещалось издеваться. Сам же суд был столь весел и было столько хохота, что я, председатель суда, плакал от смеха. К сожалению, все остроты уже забылись, а я не хочу выдумывать то, что так весело было на деле.

Другой случай был значительно серьезнее. У нас был учителем физики и химии Борис Иванович Субботин. Он был ассистентом химии в Электротехническом институте. Человек бесспорно неглупый, но с каким-то «распущенным» умом, Борис Иванович был мало пригоден для «порядочного общества». И хотя мы были сами похабники, к такому поведению учителя мы как-то не привыкли. Но пока у нас не было девочек в классе, выражения его пропускались мимо внимания. Когда же появилась у нас «Ефросиния Суздальская», дело изменилось. Началось с того, что Борис Иванович был болен. Наконец он появился в школе, и я спросил его, будет ли ближайший урок физики. Он мне ответил, что у него был такой понос, что он «опасался выпадения прямой кишки». Я был шокирован такими словами. Очень они были у нас не в ходу. Так учителя не разговаривали. И у меня осталось неприятное впечатление от этого. На ближайшем занятии по физике Борис Иванович показывал модели, на которых можно наблюдать механическое равновесие. Между прочим была фигурка клоуна, стоящего на шаре. В руках у него был длинный шест, на концах его два тяжелых шара, центры которых были ниже ног клоуна. Поэтому центр тяжести помещался ниже точки опоры его, и он качался, как маятник. Вся фигурка была высотой с полметра. Когда Борис Иванович дошел до этого примера, он его раскачал, и к всеобщему удовольствию клоун не упал. Раздался веселый смех в классе, и особенно усердствовал в этом веселии Молас. Борис Иванович сказал:

— Молас, что это вы так увлекаетесь мужчиной? Это неестественно вам так увлекаться мужчиной!

Это вызвало сильное смущение среди мальчиков. Девочки никак не реагировали, а мальчики, очень образованные, смутились, и всем стало неловко. После урока мы сочинили письмо Борису Ивановичу с просьбой исключить из своей речи то, что может быть непригодным для девчоночьих ушей. Мы написали еще, что до решения этого вопроса и до того, как он даст свое обещание, мы заниматься с ним не будем. Это письмо поручили передать мне. На первом уроке я это и выполнил. И сказал, что до ответа на это письмо мы заниматься не будем. Борис Иванович тут же прочел письмо и, как это ни странно, начал спорить со мной, так как я стоял перед ним. Он стал утверждать, что никогда не говорил таких слов. Это вызвало гул всего класса, так как все, конечно, прекрасно помнили сказанное им. Сейчас, когда я это пишу, мне все это дело представляется пустяком. Но тогда, право, мне казалось, что я обороняю невинность наших девочек. Ни до чего мы с ним и не договорились. И вопрос этот был перенесен на общее собрание школы. Перед этим собранием мы у нас в классе обсудили все

---

<sup>20</sup> Пётр Ольсен.

возможности. Решили, что голосовать нужно дружно. Тогда кто-то предложил все голоса передать мне так, чтобы я мог сразу голосовать за класс. Потом было общее собрание школы и несколько часов страшная перепалка. Большинство классов оказалось на стороне Бориса Ивановича. Но мы не сдавались, и он, после неудачных выступлений, смирился и дал обещание удерживать язык. Но перед этим он вдруг подошел к столу, за которым сидел председатель, и, стукнув кулаком, крикнул:

— Я закрываю это собрание!

В ответ раздался рев всех собравшихся, и Борис Иванович скис. И вскоре после этого капитулировал. Так, вероятно, впервые в гимназии, благодаря Октябрьской революции, ученики публично выиграли бой с преподавателем. Когда я пришел в класс назавтра, на доске было написано: «Скорчеллетти — душка». Писали, конечно, наши епархиалки.

Это увлечение общественной работой, вернее ораторской, демагогической деятельностью было столь бурно, собраний было так много, что уже на следующий год так надоело, что мы вообще не собирались. И, например, у меня, отвращение к такой «работе» осталось на всю жизнь. Конечно, это все было крайне несерьезно.

К нам тогда же приходил молоденький еврейчик, предлагавший нам всем вступить в Плехановскую группу «Единство». Мы послушали его, послушали его мертвый язык и мертвое мышление и попрощались с ним. Таковы были тогда дела школьные.

Насчет учения было очень тихо. Почти ничего мы не делали. Были все шансы вырасти нам совершенными невеждами. <...>

В городе Старая Русса был гостиный двор. Я боюсь, что немцы его разрушили. Гостиный двор был уже старый и облезлый, и тем не менее, а может быть именно поэтому, он был так трогательно мил и очень интересен. Я нарисовал его акварелью, и получилось ничего себе. Я выставил его на нашей гимназической выставке, и Добужинский<sup>21</sup> меня спросил, где это? Я ответил, и в моем голосе чувствовалась гордость. Очень мне нравился адрес, который я сказал Добужинскому: «Старая Русса».

---

<sup>21</sup> Ростислав Мстиславович Добужинский.